

| СОДЕРЖАНИЕ |

ВИТЁК	7
ВОСЬМЁРКА	27
ЛЮБОВЬ	108
ДОПРОС	119
ОГЛОБЛЯ	213
ТЕНЬ ОБЛАКА НА ДРУГОМ БЕРЕГУ	235
ВОНТ ВАЙН	265
ЛЕС	276

ВИТЁК

Москва поехала! Собирай обедать, мать! — говорил отец, заходя в дом. Пацан улыбался ему. У отца всё время был такой вид, словно он поймал большую рыбу, которая у него в мешке за спиной трепещет хвостом.

Бабушка выглядывала в окошко. По насыпи мимо деревни пролетал сияющий состав.

В книжках шум поездов описывался странным «тук-тук-тук, ты-тых-ты-тых» — но звучанье состава, скорей, напоминало тот быстрый и приятный звук, с которым бабушка выплёскивала грязную воду из ведра на дорогу. Состав будто бы сносило стремительным водным потоком. Казалось, зажмуришься в солнечный день, глядя составу вслед, — и разглядишь воздушные брызги и мыльные пузыри, летающие над насыпью.

По Москве, часа в четыре, обедали — когда дневной состав проходил в столицу, — и с Москвой, в девять с мелочью, ужинали — когда состав мчался оттуда. Если днём, на солнце, состав смотрелся будто намыленный, то вечером напоминал гирлянду.

Утром тоже был рейс, но мальчик в это время спал, бабушка возилась с коровой, а отец уходил на работу в котельную и там, наверное, время от времени похмелялся с Москвой.

Однажды пацан, перегуляв, на ночь выпил шесть кружек воды, утром, встав на три часа раньше обычного срока, припрыгивая, выскочил на улицу и наконец стал свидетелем того, как проходит первый состав. Он был схож с длинной рыбой, показавшейся на поверхности воды и тут же пропавшей в белёсой глубине. Пацан ещё толком не раскрыл глаза, когда раздался этот настагающий плеск, — а когда всё-таки разлепил ресницы — только птица зигзагами летала над насыпью, словно её полёт спутал огромный ветер.

...залил себе всю калошу, пока смотрел на птицу.

Пацану было семь лет, отец выучил его буквам.

Пацан ровно накусал пассатижами проволоку, найденную в сарае, затем, сверяясь по книжке и кряхтя, как бабушка, смастерил десятка полтора разных букв. Сначала чтоб хватило на своё имя, потом — на имя коровы, после смешал оба слова и, поковырявшись, набрал на Москву, которая носилась туда-сюда по путям.

Ходить к насыпи ему запрещали.

Зимой, сквозь рыхлые снега, навех было не забраться. Осенью и весной насыпь была грязна и неприступна. Пацан подступался как-то — вернулся домой измазанный с головы до пят, бабушка обивала его сначала на улице, потом оттирала в прихожей, потом домывала на кухне.

Зато летом... летом там цвели такие буйные цветы — издали казалось, будто они катаются на санках: всё было белое, красное, шумное, всё кудрявилось и кувырало через голову. Взгляд скользил, когда пацан глядел на эту красоту.

Засыпая, он всё никак не мог понять, как цветы прижились вдоль отлогой, крутой насыпи — им же приходится расти не вверх к солнцу, а куда-то почти в сторону, набок. Солнце греет им стебли и затылки, а не макушки.

...висит цветок, заслонившись рукавом от света, и сверху проносится состав...

Внизу, под насыпью, цветы пахли цветами — а вверху, ближе к рельсам, их становилось всё меньше, и редкие ромашки отдавали пылью, мазутом, гарью.

Пацан залез вверх перед обеденным поездом, разложил буквы на рельсе, друг под дружкой.

Сначала они лежали спутанно, но, решив, что это непорядок, пацан выложил их как положено в слове «Москва».

Часто оглядывался — не идёт ли, взметая птиц и мыльные пузыри, сшибая слепней и пчёл, состав.

Внизу, на поле, паслись коровы — их в деревне осталось три.

Одна — их Маруся, неспешная и отзывчивая, как бабушка. Другая — ближнего соседа по прозвищу Бандера, такая же рыжая, как он. Третья — соседа по прозвищу Дудай — чёрной масти и дурная, тоже понятно в кого.

Дудай, когда гнал корову домой, прикрикивал: «Хоп-хоп! Иди, ай!». Бандера раз в минуту повторял: «Цоп-цобе! Цоп-цобе!». И лишь бабушка пригоняла корову молча, потому что Маруся и так знала, куда идти.

Сейчас коровы щипали траву, обмахиваясь хвостами, или, вытягивая шеи, громко мычали в сторону путей, будто призывая состав.

Пацан сполз вниз, смятая цветы, и долго ждал поезда. Гораздо дольше, чем предполагал. За это время он оборвал лепестки у всех ромашек вокруг. Ромашки стояли лысые и противные, как новобранцы. Мухи садились на них, а пчёлы уже нет.

Пацан не двигался и старался не дышать.

Совсем близко из норы вылез суслик и поднялся на задние лапки, маленький и непроницаемый, как японский божок. Он изредка принюхивался к воздуху.

Пацан сморгнул, и суслик пропал.

На минуту задумался, как же проживает суслик вблизи путей: у него же в норе, наверняка, вся мебель дрожит и осыпается, когда мчит московский.

Состав вылетел будто из засады. От него шёл жар, а ветер нёсся и впереди, и позади, и по бокам состава, заставляя кланяться травы и кусты.

Жар этот был вовсе не такой, как от бабушкиных сковородок, — он пах серой, а не подсолнечным маслом. И сам состав был полон скрытым гулом, как будто внутри его находились тысячи бешеных пчёл.

Пацан вдруг, на долю секунды, явственно увидел девочку в окне, радостно указывающую в него пальцем. Поезд нёсся так быстро, что пока она не сжала кулачок, пальчик успел показать на всех коров, котельную, старые склады, кладбище и начинавшийся за ним лес.

Когда родители девочки, наконец, подняли глаза, чтоб разглядеть причину её удивления, — взгляд их упал как раз на косые кресты и неряшливые надгробья.

Кладбище было обнесено железной оградкой только со стороны села, а дальний его край, уходящий в деревья, был открыт настежь, словно покойным только к живым людям не стоило ходить, а в лес — пожалуйста.

Пацан иногда представлял, как могилу деда навещает медведь, или волк... или компания загулявших зайцев.

Немного подождав, пока не удалились все опалённые всадники, сопровождавшие состав, пацан поспешил к рельсам.

Буквы смотрелись замечательно. Они расплавились и стали не толще пчелиного крыла... ну, хорошо — трёх пчелиных крыл.

Пацан бережно собрал ещё горячие сколки алфавита. С другой стороны насыпи была воинская часть.

Солдат там с каждым годом становилось всё меньше; отец сказал, что скоро часть вообще прикроют — стратегического значения у неё не было никакого. Раньше за селом была станция и даже одноэтажное здание вокзала, ради него и была построена котельная. Но на вокзале давно уже не останавливались никакие поезда. Он пустовал, пылясь и осыпаясь. Котельная обогревала саму себя и магазин. Защищать тут, кроме трёх коров, было некого.

Несколько лет назад солдатики ходили в деревню за молоком, а потом перестали. Расхотелось, наверное.

Но в части ещё дымили котлы, маршировали новобранцы, изредка громыхал мат. Всё отсвечивало на солнце: спины, кастрюли, окна, плац, кокарда офицера. Два срочника, зашкерившись, курили в кустах за столовой.

Солдаты сверху смотрелись как игрушечные.

Пацан немного поиграл ими в войну, подводя полчища врага с восточной стороны части, но срочники, сидевшие за столовой, так и не обратили внимания на топот копыт и скрип тысяч повозок, поэтому пацан поспешил домой.

В одной руке у него были буквы, другой он пытался цепляться за цветы, отчего, когда сполз с насыпи, рука стала зелёной и вся горела.

Одна ладонь была горячая от букв, вторая от стеблей.

— Москва проехала, пора вечерять, — сказал отец, но голос у него был такой, словно рыба ему попалась дурная, с родимым пятном, с бледным больным глазом: и выбросить жалко, и есть страшно.

— Ты зачем лазил на пути, бродяга? — спросил пацана отец, усаживаясь за стол.

Бабушка поставила мужикам тарелки и тихо, словно пугаясь, звякнула ложками.

Пацан молчал.

Отец начал смуро есть, изредка поглядывая в окно.

Он сроду не тронул сына, но пацан всё равно его боялся.

Бабушка не желала приступать к еде, пока за столом не воцарится мир. Ей казалось, что возьми она хлеб или, упаси бог, ложку — всё вообще пойдёт наперекосяк.

Отец, на мгновенье позабыв, что ему положено быть суровым и строгим, спросил у бабушки:

— А чего сарай открыт? — и кивнул за окно.

— Да два цыплока куда-то потерялись. Звала-звала, нету.

— Это бандеровский кот, — сказал отец уверенно. — Я сказал уже Бандере: прибью иуду.

— Ой, да не бандеровский, — сказала бабушка. — Он лентяй, лежит целый день — кот Бандеры... Какие ему цыплоки! Его хоть за усы тащи — не проснётся.

Пацан, сообразив, что от него отвлеклись, вдруг высыпал на стол буквы. Под вечерней лампой они отсвечивали, как серебряные. Расставил их в форме слова «Москва».

Отец, прищурившись, смотрел.

— Красиво, — сказал. Потянулся и взял одну из букв.

Бабушка тоже полюбовалась, но прикоснуться не решилась.

Пацан быстро доел свою картошку, выпил молока и ушёл в комнату читать книжку. Детских книжек в доме было три — одна в картонной обложке, а две другие без обложек и названий.

— Откуда ты прознал о насыпи-т? — спросила бабушка на кухне.

— Бандера сказал, — ответил отец, щетинисто усмехась. — Всё, наверное, решал: как ему приятней будет — что этот бродяга снова полезет под состав или что я его вздую дома. Выбрал: лучше, если вздую.

По молчанью бабушки было слышно, что она не согласна с отцом. Бабушка считала Бандеру неплохим мужиком.

Она всех людей считала хорошими.

Для бабушки любое человеческое несчастье было равносильно совершённом хорошему делу. Мужик запил — значит, у него жизнь внутри болит, а раз болит — он добрый человек. Баба гуляет — значит, и её жизнь болит в груди, и гуляет она от щедрости своего горя. Если кому палец отрезало на пилораме — это почиталось вровень с тем, как если б покалеченный весь год соблюдал посты. У кого вырезали почку — это всё одно, что сироту приютить.

У бабушки это очень просто в голове укладывалось.

Бандера жил с женой и тремя маленькими внуками. Какого они пола, пацан толком так и не знал — детей редко выпускали за ворота. Они попискивали где-то в глубине дома или в коровьем стойле, куда их перетаскивали, когда Бандера доил коров — он сам доил.

Пацан как-то слышал, что раньше неподалёку от деревни была тюрьма, где сидел то ли отец, то ли дед Бандеры — и, выйдя на волю, остался тут жить. Но род их всегда вёл себя скрытно, негромко.

Пацан иногда подолгу стоял у Бандерина дома — понапрасну ждал, что его подпустят к детям, он бы поиграл с ними.

В былые времена в Бандерином дворе обитало множество разнообразных, шумных и пушистых собак. Жена Бандеры собирала их и сдавала на шкурки в какую-то живодёрню.

У них был сын, белёсый, рослый, видный. Кому-то подражая, рубашку носил всегда с завёрнутыми по локоть рукавами. Наглядевшись на него, пацан стал носить так же — подворачивал свои обноски, начиная с первых майских дней. Руки только мёрзли всё время.

Сын женился на местной девке, быстро наплодил троих, потом сошёлся с какой-то городской и пропал. Невестка осталась жить у Бандеры в семье.

Разве бабушка могла после этого плохо думать о Бандере?

— Бандера! — дразнил её отец, — Приютил детей! Чужих, что ли, приютил? Своих же! Куда ж им скопленные собачьи деньги тратить! Они ж собак всю жизнь резали на мясорезке! Подрастут щенки — и под нож! Вот сынок и вырос такой! Он привык, что с щенками так можно: поиграл и забыл...

Бабушка молчала так, что пацан понимал: она согласна с отцом. Согласна, но не осуждает всё равно ни Бандеру, ни сына его, ни невестку, ни Бандерову жену.

На всю деревню полная семья осталась только у старшего Бандеры и Дудая. Все остальные мужики либо бедовали по одному, либо домучивали своих матерей.

Те из женщин, что вовремя не сбежали с дембелями, из девичества сразу торопились в сторону некрасивой, изношенной зрелости, чтоб ничего от жизни больше не просить и не ждать. Ели много дурной пищи, лиц не красили.

Дедов в деревне не было вовсе, деды перевелись. Детей тоже почти не водилось, одна бандеровская мелкота. Подросшие сыновья Дудая пару лет назад переехали в город и там то ли учились, то ли работали — или и то и другое.

Средняя школа была только в соседней деревне, за двенадцать километров, отец ездил туда, договорился, что будет учить пацана дома и два раза в год привозить его сдавать экзамен.

Зимой село будто спало, лёжа на спине, с лицом и животом, засыпанными снегом. Отец иногда собирался и, прихватив охапку дров, шёл затопить печь к соседским

алкоголикам. Те могли замёрзнуть с перепоею, когда не топили дня по четыре.

Заставал их, лежавших под ворохом телогреек, одеял и тряпок, скрючившихся и посеревших.

Раньше в деревню наезжал трактор, проделывал дороги, но сейчас в этом необходимости не было — дорога была одна — ведущая к магазину, её раскатывала шишига, которая раз в неделю подвозила продукты. Меж остальными домами только натаптывались тропки, и то терявшиеся после трёхдневных снегопадов.

Вдоль тропок виднелись жёлтые прогалы, оставляемые двумя деревенскими кобелями.

Прошлую ледяную зиму случай был. Бабушка выглянула в окно и спрашивает отца:

— Чёй-то не пойму, чьи собаки во дворе суетят?

Посмотрел отец и хохотнул:

— Это волки, мать.

В дверях раздался ужасный скрежет, пацан потерял от страха дар речи, да и бабушка напугалась.

Отец пошёл открывать, бабушка глянула на него так, словно он собирался поджечь дом.

— Волки не полезли бы в двери, — сказал отец хрипло и негромко: — Это не волки.

Распахнул дверь, и в избу влетел дудаевский кобель, вечно круживший по деревне без привязи, — глупый, крикливый и хамовитый. Но тут он улыбался и заискивал всей мордью. Показалось, что кобель только притворился злым и бестолковым — а сам всё понимает, и попроси его сейчас встать на задние лапы — он встанет и постарается станцевать.

Совершенно очевидным образом поздоровавшись и с бабушкой, и с отцом, и приветливо кивнув пацану, которого до этого никогда не привечал, дудаев кобель мелькнул под кровать и затаился там, не дыша.

— ...корова-то, — сказала бабушка, не находя себе места. — В коровник-то волки?..

Пацан вдруг услышал, как истошно замычала Маруся.

— Нет-нет, куда они... — сказал отец. — Кирпич!.. Крыша. Не влезут.

Но сам тем временем нашёл таз с молотком, и, распахнув окно, начал изо всех сил бить железом о железо, прикрикивая: «Пошёл! Пошёл! Гуляй в лес!»

Через минуту, взяв топор, быстро распахнул дверь и шагнул на улицу — а бабушка, опасливо, за ним.

Никого не было.

Корову Марусю едва успокоили.

Дудаев пёс так и не ушёл до утра — лежал у дверей, не шевелясь, чтоб никто его не заметил.

В ту ночь волки пожрали всех бандеровских собак — их, кажется, оставалось тогда то ли четыре, то ли пять, все не крупные и пушистые.

С тех пор Бандеры собак не держали. Кота завели.

Зато Дудаев кобель стал ещё злей — завидев пацана, всякий раз нёсся на него с бешеным лаем — казалось, что сейчас сшибёт с ног и вырвет все кишки наружу. Только за три шага сбавлял бег и смыкал мокрую зубастую пасть и, высоко подняв голову, молча пробежал мимо и спешил дальше, не оглядываясь и задрвав твёрдый, как палка, хвост.

С отцом пёс таких забав проделывать не решался, и облаивал его, стоя метрах в тридцати, — зато самым обидным, блеющим каким-то лаем.

Отец шёл, будто не обращая внимания, но, обнаружив вдоль дороги камень, резко приседал — и через секунду, сглотнув лай, пёс исчезал в ближайших зарослях. Некоторое время отсиживался там, а потом спешил к Дудаеву дому за своей похлёбкой.

Дудай приехал в деревню за год до рождения пацана.

Отец всё время говорил, что Дудай жил на горе, и пацан иногда пытался представить, как это было. Получалось что-то вроде насыпи, только каменное, — по нему ходит Дудай, только вместо коровы у него козлы с рогами, и брехливый кобель охраняет их.

Пацан выскочил на улицу, заслышав жуткий кошачий крик, — никогда бы не подумал, что коты могут так орать.

— Петуха, бля... — кричал отец, — петуха нашего хотел задрать. Я ж говорил, эта бандеровская сволочь некормленная... Иуда, бля!

«Бля» он произносил с призвуком «ы» и с плотным «л» — «былля», от этого ругательство звучало тяжелей и весомее.

Пацан присмотрелся и увидел кота с разбитым черепом, вцепившегося передними лапами в забор так, что когти впились на сантиметр. Возле мёртвого кота валялась мотыга — неясно было, то ли отец так умело метнул её, то ли сам нагнал кота у забора и зарубил в ближнем бою.

Петуха пацан заметил, ещё когда выбегал из дома, — ошарашенная птица, лишённая хвоста и с окровавленным гребнем, ничего не видя, семена пьяными ногами и невпопад помогая крыльями, торопилась в сарай.

Там забрался под насесты, в самый угол, и сидел, перемазанный куриным помётом, зажмурившись и тихо дрожа.

Бабушка всё боялась взглянуть на кошачий труп и охала.

Отец поднял кота за шиворот и выбросил на дорогу.

Бандера уже приближался, кривя лицо и пристально глядя на кота, будто пытаясь наверняка убедиться, что он подох.

Пацан до сих пор толком не знал, какое у Бандеры лицо — глаза и лоб у него вечно были в тени густых волос, а рот прятался в усах.

Однажды Бандера приснился ему, и пацан точно разглядел его во сне — но потом днём присмотрелся повнимательнее — и понял, что нет — не такой был ночью.

Дойдя до кота, Бандера остановился и, не поднимая глаз, сказал:

— Я завтра твою корову мотыгой порублю.

Отец, стоявший с мотыгой у забора, легко ответил:

— А я тебя.

Бандера потоптался возле кота и сказал:

— Сука.

Отец щетинисто хохотнул:

— Последняя сука — это ты. Ты в собачий ад попадёшь. Сколько собак вы порезали — столько тебя и будут грызть.

Бабушка стояла окаменевшая — перечить мужику она не умела никогда, пусть это даже и сын. Она и внуку-то — пацану — тоже ни в чём никогда не перечила, будто раз и навсегда зная о его мужицком превосходстве.

Отец глянул на бабушку, и она поспешила во двор, чтоб не мешать разговору.

Никто и не заметил, как появился Дудай, — на него подняли глаза, только когда его глупый пёс зашёлся в лае, то подсакивая к забору, то отбегая.

Дудай был черноволос, кривоног, лобаст. Он часто скалился, и казалось, что это от него кобель усвоил такую повадку.

— Ну и я тоже загляну в собачий ад, похоже, — негромко добавил отец и крикнул Дудаю: — Угомони свою сволочь, мозга вскипают!

К пацану Дудай был всегда приветлив, угощал его карамелью. Но с отцом они давно не ладили — Дудай ревно-

вал его к своей жене; может, и недаром — пацан слышал как-то, что бабушка уговаривала отца: «Отвяжись от неё, он же пожжёт нас — мусульман». Слово «мусульманин» у неё было короче на слог. Слушая бабушку, пацан отчего-то вспомнил, как сам Дудай, придя в сельмаг, привычно щиплет то одну, то другую оплывшую бабу за всякие места, а те смеются.

— Собака свободный зверь, хочет — лает, — подумав, ответил Дудай отцу, глядя на дохлого кота.

— Ну, как скажешь, — ответил отец и с оттягом метнул мотыгой.

Мотыга была короткая — сделанная под совсем невысокую бабушку.

Кобель, заметил пацан, увиливая от удара, на мгновение умудрился встать буквой «Г» — вывернувшись половиной туловища — но ему всё равно досталось деревянным черенком ровно по хребту.

В отчаянье и ужасе пёс метнулся и угодил прямо в ноги Бандере, что окончательно разозлило его.

Пацан и не помнил, кто и что закричал, как отец очутился посреди дороги и снёс Бандере скулу размашистым ударом, но тут же ему куда-то в живот, по-борцовски, бросился Дудай, и отец оказался на земле, головой к своему забору, в не просыхающей даже летом грязной и пахучей луже.

Лужи оставались по всей улице даже в самое жаркое лето, — может, оттого что помойную воду выплёскивали прямо от двора.

Отец изловчился подняться, прихватив кровавого кота, и тут же швырнул им в Дудая. Но через мгновение Бандера, боднув отца твёрдой головой в спину, уронил его в соседнюю лужу.

Усевшись ему на спину, Бандера тыкал отца в самую жижу, будто хотел его досыта накормить.